

тянулись имъ на встрѣчу медлительно и тѣжко. Иногда въ стоянѣ пестрѣло стадо. Гдѣ-то въ отдаленіи протянули журавли... Колеса однообразно гремѣли и лошаденки трусили лѣнивой рысцей.

Наконецъ, онъ пошли шагомъ. Мокрый закурилъ трубочку и окончательно оборотился къ Ильѣ Петровичу.

— Что жъ пріѣдешь къ намъ на лѣто? — спросилъ онъ.

— Врадь ли, — съ уныніемъ отозвался Тутолминъ.

— О? А-то пріѣзжалъ бы. У насть, братъ, хорошо.

Тутолминъ ничего не отвѣтилъ. Тогда Мокрый усиленно попопѣлъ трубочкой, выколотилъ изъ нея пепель, и снова задержалъ вожжонками. «Эй вы, уморительные!» закричалъ онъ пискальнымъ голоскомъ. Илья Петровичъ усмѣхнулся. «Вѣдь ишь онъ, какъ его... ишь, какъ выдумалъ!» — подумалъ онъ съ удовольствіемъ и, вынувъ изъ мѣшка памятную книжку, записалъ Мокрѣво восклицаніе. Потомъ въ задумчивости сталъ перелистывать книжку... Немного въ ней было утѣшительного. Общинный укладъ расположился. Всевозможные устои подтачивались неотступно. Новые взгляды нарождались съ стремительной неукоснительностью. Старина видимо вздыхала... и грустно ему сдѣлялось.

Вдругъ Мокрый съ живостью обратился къ нему.

— А я вѣдь еще пѣсню подслушалъ, — промолвилъ онъ улыбаясь.

— Какую?

— Да ужъ пѣсня! Всѣмъ пѣснямъ пѣсня. Дѣвки отъ табачника переняли.

— Ну, говори, говори.

— Говорить-то говорить... — Мокрый почесалъ за ухомъ, — только ты ужъ, Петровичъ, безъ обиды... Больно хороша пѣсня!

Тутолминъ въ изумленіи посмотрѣлъ на него.

— А я развѣ тебя обижалъ? — спросилъ онъ.

— Ну, какъ можно обижать, — съ предупредительностью возразилъ Мокрый, и добавилъ вкрадчиво: — а все-таки маловато.

— Да чего маловато-то?

— А, на счетъ пѣсенъ... Это ужъ ты какъ хочешь, а оно, братъ, тово... Тоже ее запомни всякую... Ее, братъ, тоже не всякий запомнить.

— Ну, сколько же тебѣ?

— Да что ужъ... Все бы, глядишь, четвертакъ надо... — и онъ нерѣшительно взглянулъ на Тутолмина.